

minibo**OK**

**ИВАН
БУНИН**

**ГОСПОДИН
ИЗ САН-ФРАНЦИСКО**



Москва
2017

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б91

Оформление серии *А. Старикова*

Бунин, Иван Алексеевич.

Б91 Господин из Сан-Франциско / Иван Бунин. — Москва :
Издательство «Э», 2017. — 128 с. — (Minibook).

ISBN 978-5-699-96430-7

Знаменитый рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско» символично показал, что богатство никого не сможет защитить от хаоса смерти.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-96430-7 © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

ТЕНЬ ПТИЦЫ

I

Второй день в пустынном Черном море. Начало апреля, с утра свежо и облачно. Воздух прозрачен, краски несколько дики.

Стая краснолапых чаек долго провожала нас вчера, долго плыла на тугих острых крыльях, косясь на длинный малахитовый след за кормою. Низкие, плоские берега Новороссии скрылись вчера еще в полдень. Перед вечером скрылись и чайки...

Quosumque adspicias nihil est nisi pontus et aër...

Сизо-алый закат был холоден и мутен. Огонек, еще при свете заката вспыхнувший на верхушке мачты, был печален, как лампада над могилой. Неприятный ветер, крепко дувший по правому борту, рано согнал всех с палуб, и тяжелая черная труба хрипела, распуская по ветру космы дыма. А ночь с мутно-бледной луной и неясными тенями, едва означавшимися от вант и дыма, была еще холоднее...

Шумно и тревожно было вчера утром. С тревожным и радостным чувством спустился я с одесской горы в этот постоянно волнующий меня мир порта — в этот усеянный мачтами город агентств, контор, складов, рельсовых путей, каменного угля, товаров. По жидкой весенней грязи среди сброда босяков и грузчиков-кавказцев с их чалмами из башлыков и орлиными глазами, среди извозчиков, волов, влачащих нагруженные телеги, и жалобно кричащих паровозов пробрался я к черной громаде нашего переполненного людьми и грузом парохода, вымпела которого, в знак скорого выхода в море, уже трепетали в жидком бледно-голубом небе. И, как всегда, бесконечно долгими казались часы последних торопливых работ, топот

ног по сходням, грохот лебедек, проносящих над головами огромные клады, и яростная команда капитанских помощников. Но затихли лебедки, сошли, как серые лошади, рослые жандармы на сорную пристань — и, с грохотом сдвинув с себя сходни, пароход сразу порвал всякую связь с землей. Все ладно заняло на нем свое определенное место — в наступившей тишине, под стеклянное треньканье телеграфа, начался медленный выход в море. Тяжелая корма дрожит, плавно отделяясь от пристани и выбивая из-под себя клубы кипени, чайки жалобно визжат и дерутся над красной рачьей скорлупой в радужных кухонных помоях. С берега, из затихшей черной толпы, и с лодок машут белыми платками. Берег все отходит, уменьшается. По правому борту уже тянется каменная лента мола. Неожиданно выглянуло солнце — и сзади, за трубами и мачтами, резче обозначился город, а впереди, в зеркальных бликах от зеленой качающейся воды, засияла белая маячная башня. Потом и маяк прошел мимо, озарив своим отблеском, бугшприт медленно и неуклонно стал заворачивать к югу, огромной дугой выгнулись широкий клубящийся след винта и черный хвост дыма над ним, солнечный свет и ветер переменили по бортам места...

Сутки прошли незаметно. Просыпаешься под топот матросов, моющих палубу, с отрадной мыслью, что ночь провел, предавшись воле Божьей, возле тонкой железной стенки, за которой всю ночь шумно переливались волны. Одеваешься возле открытого иллюминатора, в который тянет прохладной свежестью, и с радостью вспоминаешь, что Россия уже за триста миль от тебя... В пути со мною Тезкират Саади, «усладительнейшего из писателей предшествовавших и лучшего из последующих, шейха Саади Ширазского, да будет священна память его!». И вот, в этой свежести утра, весны и моря, я сижу на юте и читаю:

— «Рождение шейха последовало во дни Атабека Саади, сына Зенги...

— Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний, тридцать на странствования и тридцать на размышления, созерцание и творчество...

— И так протекли дни Саади, пока не воспарил феникс чистого духа шейха на небо — в пятницу в месяце Шеввале, когда погрузился он, как водолаз, в пучину милосердия Божия...

— Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть Красоту Мира и оставить по себе чекан души своей!

— Много странствовал я в дальних краях земли, — читаю я дальше.

— Я коротал дни с людьми всех народов и срывал по колоску с каждой нивы.

— Ибо лучше ходить босиком, чем в обуви узкой, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома!

— Ибо на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь: друг, прошлогодний календарь не годится для нового года!»

В круглых сиренево-серых облаках все чаще начинает проглядывать живое небо. Иногда появляется и солнце, — тогда кажется, что кто-то радостно и широко раскрывает ласковые глаза. Мгновенно меняются краски далей, мгновенно оживает море в золотистом, теплом свете...

— «Да, да! Да, да!» — твердит машина, мимо которой твердо прохожу я по чистой, крепкой палубе, убегающей и повышающейся к носу.

Я прохожу среди наставленных друг на друга клеток, переполненных мирно переговаривающимися курами, слышу странный в море запах птичника, останавливаюсь у решетки борта: густым сине-лиловым маслом светит сквозь решетку вода, бегущая навстречу, и с каждым часом делается все более тяжелой, непохожей на жидкую, желтоватую воду возле берегов Новороссии... Дальше трап, перекинутый над шахтой трюма от спардека к носу. Из шахты глядят крупы лошадей и дымчатых быков, по-деревенски пахнет стойлом, прелым сеном... Потом я стою на носу и смотрю то на острую железную грудь, грубо режущую воду, то на лежащую мачту бугшприта, медленно, но упорно лезущую в голубой склон неба. Вода стекловидными валами разваливается на стороны и бежит назад широкими снежными грядами; глубоко внизу краснеет подводная часть носа, — и вдруг из-под него стрелой вырывается острорылая

туша дельфина, за ней другая... и долго-долго мелькают в воде их летящие вперегонки спины. Моему телу живо передается это буйное животное веселье, и вся душа моя содрогается от счастья. Через несколько часов я опять увижу Святую Софию. Через несколько дней я буду в Греции. Потом на Ниле, близ Сфинкса... И пойду к Баальбеку, к руинам капища, «воздвигнутого самим Каином в гордости и безумии»...

II

Перед вечером над спардеком появился белый китель грузного старика-командира, против солнца блеснули круглые глаза бинокля; уже открываются на горизонте, в золотистом предвечернем свете, дымчатые силуэты Малоазийских и Балканских предгорий. Хохол, едущий на Афон, старик в огромных сапогах, в коротком сером казакине и с очень маленькой головой, вышел на трап над трюмом и крестится, кланяясь им. По трапу бегут на бак босые, с подвернутыми штанами, матросы. Жадно смотрю вперед — и, наконец, различаю, что предгория, расступаясь, медленно открывают устье Босфора.

Пароход легко режет заштилевшее море и как бы уменьшается, приближаясь к четким линиям вырастающих впереди каменистых, серо-зеленых холмов Азии и Европы.

Вот поднялись справа и слева белые маяки — и потянуло теплом берега и знакомым ароматом каких-то турецких цветов, прелестным сладковатым ароматом, похожим на аромат сухой трухи в дуплистом дереве.

Затихая, замедляя ход, в блеске отражений от зеркальной воды на красноватых скалах, бесшумно входим в Коваки.

Первые турецкие сады, первые черепичные крыши, первый минарет и первый кипарис...

— Отдай! — ясно слышится в тишине, наступившей на пароходе.

И с грохотом летит вниз стопудовый якорь...

Когда-то я купил в этой стране руин и кладбищ, еще до сих пор именуемой на языке старой Турции «Вратами счастья»,

несколько лубочных картин. На одной был турецкий богатырь в желтом тюрбане, бьющийся с кентавром Полканом возле ярко-зеленого дуба. На другой — святой город, состоящий из одних мечетей, минаретов и надгробных столбиков. На третьей — караван верблюдов, нагруженный гробами.

«Возвести народам о путешествии к дому святому, дабы приходили они туда из дальних стран пешком и на быстрых верблюдах», — были начертаны над гробами слова Корана.

Да, они были когда-то, эти святые города. Были благочестивые старцы, отказывавшие по смерти своей все имение свое на нищих, калек и стамбульских собак, завещавшие доставить гроб свой через пустыню в Мекку и восклицавшие перед смертью, подобно Абд-эль-Кадеру, молившемуся в ограде Меккского храма:

— Господи, воскреси меня в день общего восстания слепым, дабы не стыдился я пред лицом праведных!

Были шитые золотом одежды, кривые ятаганы бесценной стали, тюрбаны из багдадских шалей... Но давно уже —

*Паук заткал паутины царские входы,
И ночная сова кричит на башне Афразиаба...*

Через полчаса пароход снова левиафаном потянулся по извивам Босфора, и пошли кругом зеленые холмистые побережья в цветущих садах и могильных кипарисовых рощах, в парках, мраморных дворцах и виллах, в развалинах крепостей и деревянных турецких домишках, тесными уступами нагроможденных среди развалин и зелени... Ветхость, запустение — как странны эти слова для вступающего в Турцию по Босфору! Ветхость — и чудовищные руины Румели-Гисар, ее зубчатых твердынь и допотопной башни, глядящей из Европы в Азию, на красноватые развалины Анатоли-Гисар, от которой когда-то наводил мосты в Европу сам Дарий. Запустение — и роскошь султанских вилл, пороги которых купаются в зелено-голубой воде пролива, эти сплошные сады и селенья, каики из золотой лакированной ясени, устланные бархатными коврами, на ко-

торых полулежат щеголи-греки в фесках, турецкие офицеры с меланхолически-прекрасными девичьими глазами или гаремы, закутанные в радужные брусские газы...

Свежеет, и горы и холмы, овеваемые морским воздухом, принимают лиловые тоны. Босфор вьется, холмы впереди смыкаются — кажется, что плывешь по зеркально-опаловым озерам. Но вот эти холмы расступились еще раз — и медленно принимает нас в свою флотилию великий город. Налево, на холмистых прибрежьях Малоазийских гор, пестрят в сплошных садах несметные кровли и окна Скутари. Направо, в Европе, громоздится по высокой горе тесная Галата с возвышающейся над ней круглой громадой генуэзской башни Христа. А впереди, на закате, единственный в мире силуэт Стамбула, над которым — копия минаретов и полусферы на султанских мечетях... При заходящем солнце, в тесноте судов, бригантин, барок и лодок, при стоголовых криках фесок, тюрбанов и шляп, качающихся на зеленой сорной воде вокруг наших высоких бортов, снова кидаем якорь. Ревут вокруг трубы отходящих пароходов, в терцию кричат колесные пакеботы, гудит от топота копыт деревянный мост Султан-Валидэ на Золотом Роге, хлопают бичи, раздаются крики водоносов в толпе, кипящей на набережной Галаты... Оттуда, из товарных складов, возбуждающе пахнет ванилью и рогами колониальных товаров; с пароходов — смолой, кокосом и зерновым хлебом, сыплющимся в трюмы, от воды, взбудораженной винтами и веслами — огуречной свежестью... Солнце меж тем скрывается за Стамбулом — и багряным глянец загораются стекла в Скутари, мрачно краснеет кипарисовый лес его Великого кладбища, в фиолетовые тоны переходит сизый дымный воздух над рейдом, и возносятся в зеленеющее небо печальные, медленно возрастающие и замирающие голоса муэззинов...

В старых святых городах Ислама для этих вечерних словесий еще до сих пор предпочитают глашатаи-слепые: да не смущает их земная прелесть наступающей ночи! А те, которых Творец не лишил счастья зрения, закрывают в час изана глаза... Закрывают ли глашатаи константинопольские? Голоса их все же звучат великой печалью старины и пустыни. И я вспоминаю

пыль и ветхость бревенчатого моста Валидэ, черные деревянные сараи возле него... Вспоминаю сгнившие в труху и почерневшие лачуги Стамбула, его развалины, тихие кофейни и кладбища... Потом гляжу на приземистый купол Софии, в котором есть что-то непередаваемо-древнее, как в куполе синагоги... Вижу, среди запущенного серальского сада, на берегу стамбульского мыса, остатки древних стен Византии и дворца Константина...

— Возвышается София над городом, как корабль на якоре! — говорили когда-то.

Теперь она осела, затерялась среди новых мечетей. Издалека она кажется даже небольшою. Не велик и дворец. Он из серого камня, прост, груб, как крепостная тюрьма, крыша на нем без выступа, окошечки узкие, высоко пробитые... И как чужд он всему — он и София — даже здесь, в старом Стамбуле!

Солнце закатилось, на турецких часах двенадцать — и меня постигает участь, подобная участи турецких женщин: женщинам нельзя после заката выходить из дому, путешественникам — вступать в город. Но, стоя возле борта и глядя вниз, на лодку афонских монахов, высматривающих, нет ли паломников, которым они дают приют на своих подворьях в Галате, я вдруг замечаю среди них знакомого, проводника-грека Герасима, и радостно кричу ему по-русски, по-гречески и по-арабски:

— Герасиме! Добрый вечер! Калиспера! Меса бель хайр!

Герасим поднимает кверху очки, ищет меня в толпе и не спеша — ему уже за сорок — улучает среди качки удобный момент, чтобы ухватиться за перила трапа.

Проводник мне не нужен, но не проберешься один после семи часов в город. И Герасим немедленно вступает в свои обязанности.

Бережно несет он под мышкой тяжелый черный зонт, с которым никогда не разлучается, бережно снимает черную шляпу и вытирает ситцевым платком свою большую коротко стриженную, серебристо-сизую голову... Жарко под черной шляпой! Но Герасим является на пароход всегда в шляпе, в бумажных отложенных воротничках и ветхом черном галстуке в виде летучей мыши...

III

Возле какой-нибудь маленькой, полуразвалившейся мечети в Скутари — в этом старинном хане всех караванов Азии, — на каком-нибудь пыльном базаре, окруженном кофейнями, из которых несет чадом жаровен, облитых кипящим бараньим салом, и пестреют халаты толстых хозяев в больших тюрбанах, не редкость видеть грязно-грифельную грудь верблюда и погонщика в еще большем тюрбане и овчинной куртке. На главной скутарийской улице есть кофейни почище, где так сладко мечтать за чашечкой кофе на длинных диванах в пестром ситце, тихо поглаживая спину кошки и опустив одну ногу, в туфле, на пол, а другую, в чулке, поставив на сиденье. В переулках Скутари, среди пекарен, шорных мастерских и лавочек, заваленных медными болванами для глажения фесок, среди облезлых собак, скитающихся по пыли и ослиному помету, в жаркие и нежные дни ранней приморской весны цветут розовыми восковыми свечечками темно-зеленые платаны, из-за древних садовых стен снегом белеют цветущие плодовые деревья, глядит осыпанное кроваво-лиловым цветом голое иудино дерево...

— Селям! — ласково и сдержанно говорят сидящие под деревьями возле кофеен крупные старики в белых и зеленых чалмах, в меховых безрукавках и халатах, отороченных мехом. — Селям! — говорят они подходящим, легко и красиво касаясь груди и лба, и опять замолкают, отдаваясь дыму нергиле и спокойному созерцанию собак, туристов, ковыляющих женщин, закутанных в розовые и черные фередже, и медленно, важно качающихся на ходу горбунов-верблюдов.

И мне никогда не забыть сладкой, деревенской тишины Скутари, его стен, кладбищ, густых садов, запутанных переулков, где двухэтажные деревянные домики выступают над пешеходными тропинками серыми решетчатыми окнами. Сколько в этой сплошной садовой глуши, называемой Скутари, старых мраморных фонтанов, в хрустальной воде которых моют загорелые ноги странники, благословящие именем Бога и эту воду, и легкую весеннюю тень развесистого дерева над фонтаном, и дремотное

жужжание пчел на цветущих абрикосах! Сколько там, в этой глуши, мечетей, на куполах которых растет трава, а внутри воркуют голуби! Сколько кладбищ, затерявшихся между садами, мечетями и стенами, сколько кипарисов с голыми стволами телесного цвета и могильных белых столбиков в чалмах и золотых надписях, где так мирно, ласково и с такой трогательной верой говорится о весенних радостях жизни, о холодных ветрах рока, о соловьях и розах в стране Блаженной!

Не то Галата. Недаром Галату называют помойной ямой Европы, сравнивают с Вавилоном, Содомом.

Среди несметных каиков, стоящих возле потемневших от воды и времени деревянных свай, я выхожу вслед за Герасимом на Галатскую набережную, отдаю паспорт турецкому чиновнику, сидящему в сарае таможи, и вступаю в Галату в тот час, когда замирают призывы муэдзинов, день по закону Ислама кончается и лавки должны запираться.

Но какое дело до изана Галате!

По пыльной и ухабистой набережной, заставленной с одной стороны железными боками гигантов с разноцветными знаками на трубах, а с другой — сплошными кофейнями, шумными и уже ярко освещенными, непрерывно текут навстречу друг другу потоки разноязычного народа. Зеленоватое небо еще светло над темным и четким восточным силуэтом Стамбула, над сиренево-стальной водой и над шестью мачт в Золотом Роге. Но над набережной и над рейдом уже висит опускающийся книзу дым, пыль и сумрак. Между носами и кормами пароходов я вижу темную Скутарийскую гору, засыпанную роями огненно-золотых пчел. Тысячи самоцветных камней — крупных изумрудов, брильянтов и рубинов — рассеяны по кораблям темнеющего рейда. Бледные топовые огни, как лампадки, высоко висят на всех мачтах возле набережной. Но это уже огни ночного отдыха. Совсем другими огнями горят раскрытые настежь окна и двери в галатских домах, в кофейнях, в табачных и фруктовых лавочках, в парикмахерских. Сколько тут этих огней, сколько народа, играющего в кости, в шашки, пьющего виски, мастику, кофе и воду и занявшего своими табуретами,